

Жизнь А.Г.

Автор:

Вячеслав Ставецкий

Жизнь А.Г.

Вячеслав Викторович Ставецкий

Неисторический роман

Вячеслав Ставецкий – прозаик, археолог, альпинист. Родился в 1986 году в Ростове-на-Дону. Финалист премии “Дебют” (2015) и премии им. В.П.Астафьева (2018), публиковался в журнале “Знамя”. Роман “Жизнь А.Г.” номинирован на главные литературные премии.

Испанский генерал Аугусто Авельянеда – несчастнейший из диктаторов. Его союзникам по Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил себе пулю в лоб, другого повесили на Пьяццале Лорето. Трагическая осечка подводит Авельянеду, и мятежники-республиканцы выносят ему чудовищный приговор – они сажают диктатора в клетку и возят по стране, предъявляя толпам разгневанных рабов. Вселенская справедливость торжествует, кровь бесчисленных жертв оплачена позором убийцы, но постепенно небывалый антропологический эксперимент перерастает в схватку между бывшим вождем и его народом...

Вячеслав Ставецкий

Жизнь А.Г.

© Ставецкий В.В., 2019.

© ООО “Издательство АСТ”, 2019.

* * *

Часть I

Пистолет дал осечку. В отчаянии Авельянеда еще глубже пропихнул вороненый ствол, так, будто позор можно было затолкать в рот, но прежде, чем он успел снова нажать на курок, ворвавшийся гвардеец вышиб вальтер ударом веского, громоподобного кулака. Схватившись, они стремительным вальсом понеслись по обсерватории – два пылких, легкомысленных кавалера, только один чуть грузен, полноват: одышливая, оступающаяся борьба тяжести и физической силы. Авельянеда правил к вальтеру – тот закатился под стойку приборной доски, гвардеец – к зеркальному шкафу, в котором, вздрагивая, отражались неловкие *ra de chat* и *ra de bougee* их страстного танца. В коридорах еще затухали отзвуки схватки – последние *guardia negro* боролись с штурмующими, – грянул сдавленный выстрел, кто-то пожаловался, захрипел, сопение переросло в рык, потом снова в жалобу и – скольжение обессиленных ног по паркету. Полнота брала верх: Авельянеда пыжился, кряхтел, но вел их шаткий дуэт к вожделенному вальтеру. Два шага, три, но когда цель была почти достигнута, бом! – вдруг сказало, звеня, осыпающееся стекло, зал сотряс топот подкованных ног, и уже не одно, но три, пять, восемь тел навалились, давя, хватая за вымя, за подбородок, за что ни попадя, отнимая такую близкую, но такую неверную, внезапно изменившую смерть...

Когда всё было кончено, Пако Фуэнтес, гвардеец, пленивший Авельянеду, вышел покурить на террасу. В стороне, положив каску на мокрый, чуть тронутый изморозью парапет, дымил замурзанный лейтенант, задумчиво глядел вниз, на долину; еще дальше, в углу, двое республиканских солдат мирно, с прибауткой, обчищали мертвого черногвардейца. В груди саднило от горного воздуха: приятная, но с непривычки немного пугающая холодноватая тяжесть. На юге, за длинным грязновато-бурым зубчатым кряжем громоздились вершины Сьерра-Невады – Пико дель Велета и Муласен, уже заснеженные, затянутые по краю паволокой дымчатых облаков. Внизу, по дну длинного заболоченного ущелья, тянулась колонна крохотных студебеккеров, в которых покачивались ряды еще более крохотных касок – ненужная уже подмога, батальон опоздавшего на

победу Рафаэля “Вальдо” Мартинеса.

Так кончилась эпоха Аугусто Гофредо Авельянеды де ла Гардо, диктатора и бога, более известного Испании и всему миру как А.Г.

За свой подвиг Фуэнтес удостоится капральских нашивок и пожизненной пенсии от правительства. Он умрет два года спустя от заражения крови, которое получит, порезавшись о лезвие плуга в родном селении под Бадахосом за три дня до начала полевых работ. Плененный им Авельянеда переживет Фуэнтеса на двадцать пять лет.

* * *

Казнь вершилась во Дворце правосудия, на высоком помосте, временно возведенном на месте судейской кафедры. Большая часть зала была погружена во мрак, и только на сцену падал сноп электрического света, который выхватывал из темноты деревянный столб с перекладиной и петлей, край вишневой бархатной драпировки и нависающий над помостом плафон пышнотелой люстры, дешевой подделки под бронзу и хрусталь, появившейся здесь в годы Второй Республики. За окном, неплотно замкнутым тяжелой гофрированной портьерой, виднелись пыльные развалины Мадрида.

Последним на эшафот взошел бригадный генерал Серхио Роха, верный Роха, который еще месяц назад, в Альто-Гвадалькивир, похлопывая себя стеком по голенищу и гневно поводя седыми усами, отдавал приказ о расстреле пленных республиканцев. Перед тем как под его ногами вышибли доску, генерал, с презрением глядевший на своих палачей, прокричал: “Да здравствует Авельянеда!” – и забился в петле жестким сухопарым телом, как пойманная рыба на леске – старый печальный паяц, заводной клоун, бездушная марионетка. Присутствующие стоя аплодировали палачу, который ловко вытащил удавленину из веревки и бросил ее вон со сцены. Авельянеда, принужденный лично присутствовать на спектакле, был уверен, что станет следующим, но вместо этого на помост взошел высокий тощий судья в парике а la Людовик XIV и, развернув желтоватый пергамент, торжественно объявил, что за преступления перед испанским народом и человечеством он, Аугусто Гофредо Авельянеда де ла Гардо, в назидание потомкам приговаривается к пожизненному “публичному заключению” поочередно – в течение трех дней – на главной площади каждого из городов Республики, где эти преступления

(следовал подробнейший список) были совершены. Судья еще говорил, отхаркивая в темноту клочья голубоватой пены, а сцена уже плыла, уже разваливалась на части, приобретая жуткую податливость миража. Авельянеда слушал, чувствуя на себе злорадное внимание всего зала, неподвижный, бескровный, прямой, крепко стиснутый с обеих сторон бойцами штурмовой гвардии. Сбывался – и притом с разительной точностью – самый сокровенный его кошмар. Незадолго перед падением он признавался своим генералам, что больше всего боится не смерти, но плена, того, что мятежники посадят его в клетку и станут показывать публике, как зверя.

Этим решением он был обязан главе нового кабинета, Горацио Паскуалю, который знал о страхе диктатора со слов его личного адъютанта. Накануне, в парламенте, многие стояли за смертную казнь, но Паскуаль, умница и блестящий оратор, убедил коллег, что предъявленный публике живой тиран принесет Испании куда бо?льшую пользу, нежели мертвый, отданный на съедение червям. “Сохранив Авельянеде жизнь, – говорил Паскуаль, – мы навсегда избавим страну от диктаторов, ибо кто из нас (тут он лукаво подмигнул депутатам) пожелает присвоить себе власть, рискуя повторить его незавидную судьбу?” Были, однако, усомнившиеся, и после обеда премьер пригласил оппонентов к себе в кабинет, откуда телефонировал сначала в Лондон, а затем и в Париж. Рукой Паскуаля, снимающей с рычага лакированную трубку, двигал простой дипломатический расчет: ведь Англия и Франция оказали Республике военную помощь и были весьма заинтересованы в том, чтобы человек, втянувший Испанию в войну на стороне Венского пакта, понес заслуженное наказание. Паскуаль долго обаятельно улыбался, кокетливо крутил пальцем кудряшки телефонного провода, болтал под столом ногами и под конец получил не только полнейшее одобрение, но и самый благоприятный отзыв о своем замысле. К северу от Пиренеев сочли, что это будет небывалый антропологический эксперимент, своего рода передвижной музей одного тирана, весьма поучительный как для зрителей, так и для самого экспоната; а чуть западнее, за Ла-Маншем, попыхивающий бульдожий голос в трубке резонно заметил, что минувшая война была войной диктаторов, и после того как один пустил себе пулю в лоб, а другой три дня провисел на Пьяццале Лорето, с наилучшими последствиями для своего здоровья, было бы разумно сохранить для истории хотя бы одного из них. На следующий день предложение Паскуаля было принято большинством голосов.

После, в кулуарах, куски веревки, на которой был повешен Роха, продавали по тысяче песет за штуку – новенькие, хрустящие банкноты с приятным шелестом исчезали в руках счастливого палача. К вечеру, набив карманы выручкой,

бедолага вдрызг нарезался в дворцовом буфете, бесцельно плутал по вымершим коридорам, задевал статуи и кланялся плешивым портретам, ломился в запертые чуланы и справлял нужду в кадки с цветами, пока не вышел во двор, где уже вовсю розовел беспечный мадридский закат. Здесь еще было людно, полупьяные гости упражнялись в стрельбе по чучелу черногвардейца – набитой соломой кукле с пришпиленными к груди звездами времен Империи. Палач слонялся вокруг да около, давал советы, как стрелять, раза два пальнул сам, промазал, выпил еще вина, выкурил полпачки американских сигарет, долго по-идиотски смеялся в углу, рассказывая корзине с капустой сальный, очень сальный анекдот про ту старую шлюху, что пришла в гости к бабушке в Духов день. Когда все разошлись, а над дворцом взошли новехонькие, республиканские звезды, он посерьезнел, ополовинил еще пачку, сунул сигарету чучелу в рот – так-то, брат, не грусти, и не такое бывает, а после, прищелкивая пальцами, затянул долгую, нескончаемую мунейру, где было что-то про пристань, и корабли, и ждущую девушку вдалеке. Так, хрипло припоминая слова, он бродил по двору, а под утро, желая напиться, утоп в бочке с водой, куда по неосторожности слишком глубоко запихнул свою буйную голову. Вползающий во двор тяжелый, брюхатый облаком рассвет обнажал его по частям: стоптанные рыжие сапоги, перепачканные в мелу синие брюки со штрипками, торчащая из кармана нежно-фиолетовая купюра.

Так же, частями, солнце обнажало старинную Пласа-Майор, где часом ранее в тени конной статуи Филиппа III появилась большая железная клетка. Охранявшие ее карабинеры – по одному на каждом углу – украдкой позевывали, скребли пятернями затылки; самый пожилой из них, северо-восточный, мирно дремал, опершись о поставленную стоймя винтовку.

Горожане заметили клетку и замершего в ней человека не сразу. В столь ранний час многие просто проходили мимо, заспанные, торопливые и оттого не слишком наблюдательные; лавочники сонно отпирали двери, снимали с витрин деревянные щиты. Лишь к исходу седьмого часа, когда с клетки сползла королевская тень (Авельянеда сразу почувствовал себя нагим), прохожие начали останавливаться и смотреть, со всех сторон обращая к нему большие, цепкие, разящие насквозь глаза. Чуть погодя зрители стали появляться и на балконах – крутобокие матроны в папильотках и кружевах, их небритые и полубритые мужья в ночных штанах с отвислыми коленками, с шипящей в сковородке треской, дети: тут – аккуратная школьница в бело-голубом платье, там – розовощекий карапуз с добавочным куском тортильи в руках, усатые служащие и машинистки, старые хрычи и молодые праздные недоумки. И здесь были только глаза, спокойные, немигающие, с воловьим упрямством глядевшие в одну

точку, коей был он сам, затравленный и одинокий.

Было слышно, как где-то далеко, в глубине дома, радио, прочистив горло, заиграло по ошибке упраздненный имперский гимн.

* * *

Такие же глаза он видел повсюду – в Галисии и Астурии, Кантабрии и Риохе, Наварре и Арагоне. Города оспаривали друг у друга право первыми принять свергнутого диктатора, и не будь его маршрут заранее утвержден республиканским правительством, взялись бы, чего доброго, отстаивать это право с оружием в руках.

Всюду, где появлялся его черный, клейменный буквами “А.Г.” запыленный фургон, он собирал целые аншлаги ненависти, вакханалии злопамятства, карнавалы вражды.

“Чествование” начиналось еще в полях, на подъезде к городу, где тюремный “додж” с клеткой и узником встречала пестрая толпа зевак, жаждущих вкусить от мести самые сладкие ее первины. Загорелые оборванные работяги на велосипедах и стареньких тархтящих “меголах” следовали за фургоном, сигналивая и улюлюкая, босоногие мальчишки шлепали по лужам, бросая в зарешеченное оконце комья грязи, женщины осыпали бронированный кузов репейником и колючками – цветами зла, собранными специально к его приезду. Всё это напоминало пародию на свадебную процессию, довольно гнусную пародию, достигавшую апогея в центре города. Под звон церковных колоколов и клаксоны автомобилей, в сопровождении почетного эскорта из горланящих юнцов и потрясающих клюками бродяг он въезжал на главную площадь, где его ждало волнующееся море человеческого гнева и невысокий деревянный пьедесталец с надписью “Государственный преступник”. Там, на этом пьедесталеце, под защитой всего нескольких равнодушных карабинеров, Авельянеда проживал страшные, головокружительные часы, расплачиваясь, как ему казалось, за грехи всех тиранов в истории. Ибо только так – возложением на него вины Калигулы и Нерона, Кромвеля и Бонапарта, бесноватого баварского лавочника и толстозадаго повара из Романьи – он мог объяснить себе подобную участь.

Каждый день, с той самой минуты, когда клетку с ним выгружали из “доджа” и устанавливали на пьедестал, до багровой зари, когда его отвозили в местную тюрьму (где был короткий занавес сна с прорехой ужаса посреди и беспощадный утренний поворот ключа в замке – сигнал о возвращении на площадь), Авельянеда погружался на самое дно горячей, хорошо протопленной преисподней, помещенной в самом жарком месте сердца его народа. Он глух от криков и улюлюканья, в которые люди старались вложить всю свою ненависть, скопленную за долгие годы, он слеп от множества зеркал, которые ему протягивали со словами “Посмотри на себя, убийца!”, он задыхался от дыма, которым его окуривали с воплями: “Изыди, дьявол! Возвращайся в свой ад!”. Он познал возможности испанского языка по части ругательств – возможности поистине безграничные, ведь из одних только животных, с которыми его сравнивали, можно было составить обширнейший зоопарк. Он открыл, до какой непристойности могут прийти испанские женщины, ибо слова и жесты, коими одаряли его эти прекрасные Мерседес и Тринидад, по достоинству оценили бы в любой казарме, в любом разбойничьем логове. Он постиг жестокость испанских детей, которые надрывали свои цыплячьи глотки, стараясь не отстать от матерей и отцов, хотя многие из этих маленьких чертенят даже не знали толком, кто он такой.

Они легко могли смести охрану и полицейских и растерзать его, но не делали этого, ибо позор свергнутого божества радовал их сильнее его смерти. Злобу они срывали на символах его власти, срывали с таким упоением, словно боль, причиненная этим символам, могла передаться ему самому, ненавистной диктаторской плоти. В Саламанке площадь была усеяна партийными значками “Великой Испании”, объявленной вне закона вместе с ее проклятым главарем, – мириады маленьких серебряных звезд хрустели под ногами разнузданной черни, свершающей на осколках его государства свой бесславный варварский танец. В Ла-Корунье на его глазах с колонны сбросили имперского орла – прекрасное бронзовое изваяние, которое берегли специально к приезду черного “доджа”. Едва птица, прыгнув в воздухе крыльями, рухнула на тротуар, сверху на нее взобрались два предприимчивых голодранца и принялись топтать и оплевывать ее на радость беснующейся толпе. В Бильбао его статую работы Зангано свергли с пьедестала и крушили кувалдами до тех пор, пока она не превратилась в грудку щебня, а в Сарагосе мраморного каудильо увенчали короной из колючей проволоки и окатили свиной кровью, липкой, уже свернувшейся, – к вечеру памятник облепили мухи. Они жгли его портреты, имперские флаги, школьные учебники, в которых он прославлялся как спаситель отечества, облигации военного займа, пластинки с записями его речей, военные плакаты и календари с датами мнимых побед, нарукавные повязки “Великой Испании” и десятки его

собственных чучел в парадной форме, с бутафорскими медалями на груди. Сами того не зная, они расправлялись не с ним, но с собственным прошлым, с теми собой, кто некогда поклонялся этим статуям и с гордостью носил на лацканах эти значки.

В то время как его бесчисленные двойники падали с пьедесталов и корчились в огне, потрясая жестяными медалями, сам Авельянеда держался спокойно, был лишь немного бледен, несмотря на палящее солнце, от которого почти не спасала натянутая поверх клетки белая парусина. Он держался благодаря внутреннему оцепенению, не покидавшему его с той злополучной минуты, когда тощий судья огласил чудовищный приговор. Ему всё казалось, что это происходит не с ним, что эти горящие каудильо и облитые кровью статуи – лишь донельзя затянувшийся кошмар, увиденный им в горах Сьерра-Невады, и изо всех сил цеплялся за это хрупкое ощущение, чтобы не сойти с ума и не дать толпе еще один повод для ее глумливого торжества.

Впрочем, он ужасался не столько их ненависти (ибо не сомневался, что она внушена лживой республиканской пропагандой и что в толпе полным-полно клакеров, науськивающих народ), сколько той быстроте, с которой они изменились.

По вечерам, когда толпа, насытив свой гнев, нехотя расходилась, а на площадях вспыхивали огни, Авельянеда, прильнув к прутьям решетки, всматривался в лицо новой Испании – пресловутого царства свободы и благоденствия, которое мятежники утвердили на гранях британских штыков, – и эта страна повергала его в ступор. Там, в этой Испании, цвели рекламы таинственной “кока-колы” – большие самозванные луны, похожие на мармелад, – и юнцы таращились на них как на чудо, застывая от изумления посреди загаженной мостовой. Там полуголые девки с киноафиш зазывали народ на пошлейшие голливудские мелодрамы, и народ послушно выстраивался у касс, лихорадочный, как морфинист, раздобывший денег на новую порцию зелья. Там торговали мерзейшим американским ширпотребом, сваленным в огромные кучи прямо на мостовую, и люди чуть не дрались за эти тряпки, протягивая богатеющим спекулянтам мятые песеты, серебряные ложки, часы с боем и живых ошарашенных кур. Торг был повсюду, дикий, необузданный торг: здесь остатки испанской чести выменивались на развлечения и еду. В Валенсии офицеры сбывали пьяным английским матросам свои ордена – звезды его Империи, добытые в боях с этими же матросами, а теперь отвергнутые ради вина и ласки портовых шлюх. В Мурсии горожане, напирая и отпихивая друг друга,

расхватывали билетки мгновенной лотереи и были счастливы, выиграв кофемолку или пару зеленых носков. В Картахене по Пласа Аюнтамьенто расхаживал человек-реклама в костюме цыпленка с табличкой “Птицеферма Санчеса” на груди, и зеваки хватались за животы, когда этот желтокрылый гаер принимался вытанцовывать для них неуклюжую сегидилью. Авельянеда еще мог смириться с падением орлов, но с возвеличиванием куриц – никогда. Он был в отчаянии. Его народ, вчерашние сверхчеловеки, вновь обратился в стадо плебеев, и обратился с радостью, как будто только того и ждал. Он чувствовал себя обманутым, ведь выходило, что год за годом, всё глубже, всё безнадежнее увязая в своем лицедействе, они лишь искусно притворялись, и несмотря на жертвы, принесенные во имя их совершенства, он, Аугусто Авельянеда, оказался бессилён их изменить. Это было сродни еще одному поражению – быть может, горчайшему из всех.

* * *

Все эти годы он пытался сделать их другими – с той самой минуты, когда танки его Первой Марокканской дивизии, скрипя ржавыми гусеницами и поднимая на ходу тысячелетнюю иберийскую пыль, вползли (“ворвались”, как было сказано потом в официальной хронике) в осажденный Мадрид и смели опереточную Вторую Испанскую Республику. Именно тогда, как только выстрелы отзвучали, а республиканский президент Аркадио Хименес примерил пеньковый галстук, Авельянеда, засучив рукава, принялся заново творить свой народ, преисполненный жажды вернуть ему утраченное величие.

Эта жажда возникла в нем задолго до мятежа, в тот злополучный августовский день 1898 года, когда он, сидя на коленях отца, мелкого банковского служащего в захолустной Мелилье, прочитал в газете о поражении отечества в Испано-американской войне. Маленький Аугусто тогда всю ночь прорыдал в подушку, а наутро, когда росинки слез на ресницах мальчика еще не обсохли, родители, желая утешить впечатлительного сына, подарили ему роскошную книгу в бархатной обложке – историю походов Кортеса и Писарро. В тот же день, утирая кулаком постыдные слезы, Аугусто жадно проглотил ее и, вдохновленный подвигом горстки конкистадоров, положивших к ногам своего короля половину мира, поклялся отомстить врагам отечества и возродить Испанскую империю от Мексики до Филиппин.

Годы спустя он приказал поставить на Пуэрта-дель-Соль в Мадриде статую плачущего мальчика с газетой в руках, названную им “Памятником скорбящей Империи”. Из глаз бронзового мальчугана – точь-в-точь его самого в детстве – текли бронзовые слезы, обширный бронзовый заголовок венчала дата позорной капитуляции. Здесь, у этого памятника, Авельянеда повторил свою детскую клятву, и народ, тот самый народ, который теперь с таким упоением проклинал его, бесновался от счастья, требуя приблизить этот великий день.

6 августа – день Пыльного мятежа – он объявил началом новой, Испанской эры и, стиснув в жилистом кулаке обмякшие бразды политической власти, повел Империю к намеченной цели.

О, это была славная эпоха, время веселого донкихотства и тысячи свершений, когда страна, загнанная в болото чередой бездарных правителей, устремилась ввысь. Музыка, о которой он мечтал, грядущей музыке пушек и пулеметов предшествовала другая, но не менее прекрасная – музыка кирок, пил и отбойных молотков, грандиозная симфония созидания.

Стараясь расшевелить эту нацию лентяев с их вечной сиестой и праздным пением под гитару, Авельянеда всюду подавал согражданам личный пример. Первым – под прицелом фотокамер – забил костыль в полотно новой железной дороги Мадрид – Бургос, первым – с лопатой наперевес – начал кампанию по осушению Южных болот, первым за долгие годы спустился во мрак бездонной, как сама преисподняя, заброшенной угольной шахты на западе Арагона. На страницах испанских газет в те месяцы появлялся Авельянеда-тракторист, собирающий урожай пшеницы под Гвадалахарой, Авельянеда-каменщик, укладывающий кирпичи на строительстве фабрики в Саламанке, Авельянеда-грузчик, таскающий тюки с товаром в порту Кастельон-де-ла-Плана. Его шея и руки сверкали от пота, рубаха пузырярем вздувалась на ветру, и восхищенная молодежь, позабыв о безделье, старалась во всем походить на своего храброго каудильо.

Он затевал самые немыслимые проекты, ибо в своей неистовой жажде преобразования посягал не только на общественную жизнь, но и саму землю, ее реки, леса, озера и горные хребты. По его отмашке марокканские бедуины на конях, с трубами и барабанами, ринулись высаживать в пустыне акацию и тамариск: так уже через год после Пыльного мятежа началось Великое озеленение испанской Сахары. В те же дни из Толедо выступила Первая трудовая армия с кирками и заступами на плечах – ей предстояло срыть часть

Центральной Кордильеры, дабы там, среди скал и твердынь, основать будущую столицу всемирной Испанской империи. Вторая трудовая армия двинулась расширять русло Тахо, с целью сделать ее ни много ни мало самой полноводной рекой Европы, на зависть и посрамление славянским гигантам.

На авиационном заводе в Барселоне специально для каудильо был собран быстроходный дирижабль “Палафокс” – грозный, как торпеда, ослепительно прекрасный цеппелин с корпусом, выкрашенным в цвета национального флага, могучими, как тысяча чертей, двигателями “Даймлер” и хромированной гондолой класса люкс. Это была небесная агитационная машина, оснащенная собственной типографией, радиостанцией, мощными громкоговорителями и вместительным бомболюком для сброса листовок, партийных значков и подарков благодарному населению. На “Палафоксе” Авельянеда летал по стране и с упоением наблюдал в подзорную трубу, как рождается из руин новая Испания, его Испания, как карабкаются по строительным лесам пигмеи-рабочие и трудятся в полях муравьи-поселяне.

– Вас ждут великие дела! – кричал он в серебряный микрофон, чувствуя, как его титанический глас разбегается по земной поверхности, проникает в каждую хижину, в каждый дом, унавоживает сердца ликованием и безудержной верой в завтрашний день. Муравьи и пигмеи что-то нестройно гудели в ответ, размахивая руками, догадливый ординарец запускал пластинку с национальным гимном, и, включив динамик на полную громкость, Авельянеда летел дальше, на открытие текстильной фабрики в Куэнке или на испытание новейшей чудо-пушки под Таранконом.

Он задался целью сделать из своих соплеменников новый народ, сильный, бесстрашный, нацию сверхчеловеков, перед которой вострепещут и склонят свои головы в восхищении ее бесчисленные враги. Будущая раса господ уже таилась там, под спудом, в глыбе народного характера – нужно было только отсечь все лишнее и пробудить ударом резца те бессмертные добродетели, которыми так щедро оделило испанцев благосклонное провидение.

Он объявил войну буржуазности, этой духовной проказе, ибо не желал, чтобы наследники Кортеса и Писарро походили на изнеженных европейцев, тупоумных рабов капитала, с душою, составленной из кафешантанных мелодий и трескучего шелеста банкнот. Ежедневно в полях за Мадридом разводились высоченные костры из предметов роскоши – вавилонские башни из венских стульев и картин в золоченых рамах, и верные призыву Учителя беззаветные

мадридские школьники украдкой тащили в огонь отцовские граммофоны и материнские жемчуга, а сердобольные старики послушно доставали из сундуков наполовину съеденные молью парчовые скатерти.

Желая внушить согражданам презрение к алчности и богатству, Авельянеда, подобно Ликургу, ввел в стране железные деньги. Новая песета была столь тяжела и велика размером, что плату за молодого быка приходилось везти домой на телеге – состоятельных это быстро отвадило от пустых трат, бедняков приучило к бережливости. Почти всё западное было объявлено вне закона, ибо американские фильмы и музыка растлевали, а английская мода учила извращенному щегольству. По той же причине он запретил французские духи, заявив в парламенте, что “от испанца должно пахнуть испанцем, а не парижской шлюхой”. Запрет был принят единогласно, а члены парламента стоя рукоплескали его мудрости.

Он насаждал дух старой Испании, Испании героев и завоевателей, волшебной страны его детства, родины его снов. Эталоном стал конкистадор – человек будущего, блистательный полубог, сплав благородства, жизнелюбия и отваги.

В школах были введены обязательные уроки фехтования и галантных манер, на производстве – курсы стихосложения и кулачного боя. Каждому мужчине в возрасте от двадцати до шестидесяти было рекомендовано (в принудительном, разумеется, порядке) сдать экзамен на кабальеро – простейший рыцарский набор, в который входили владение шпагой, верховая езда и чтение изящных сонетов. Последнюю часть испытания каудильо, большой знаток поэзии Золотого века, нередко проводил сам. Сидя на складном стуле в палатке выездной экзаменационной комиссии, он снисходительно наблюдал, как какой-нибудь загорелый житель пуэбло, оторванный от плуга и поросят, ломая шапку в заскорузлых руках, неловко читает стихи Кальдерона и Лопе де Веги. Каудильо ободряюще кивал, отбивал такт носком лощеного сапога и доводил экзекуцию до конца, заставляя дважды повторить самые трудные строки, после чего красный, как свекла, поселянин, награжденный значком кандидата в рыцари, возвращался к своим поросятам.

Закалка тел проходила под лозунгом “Один испанец должен стоять ста французов, двухсот американцев и тысячи англичан!”. На площадях крупнейших городов устраивались ежеутренние сеансы массовой физкультуры. Из динамика, булькая и звеня, раздавался обаятельный голос диктора: “Раз... Два... Три... Поворот... И присели... И-рраз...” – и тысячи затянутых в черные облегающие

трико девиц и юнцов послушно наклонялись и приседали, заставляя своих чувствительных матерей плакать от умиления, а бесстрастных отцов добродушно посмеиваться в нафабранные усы. Здесь же, на площадях, ежемесячно проводились рыцарские турниры. Мостовую на средневековый манер обносили раскрашенными щитами, на тротуарах и крышах домов оборудовали зрительские места, и закованные в хрустящие латы потомки идадьго и кабальеро штурмовали друг друга с копьем наперевес или, срывая аплодисменты, расстреливали из лука чучело американского пехотинца.

Ярчайшим событием той поры стали большие Барселонские Игры, приуроченные к четвертой годовщине Пыльного мятежа. Авельянеда задумал их как альтернативу Олимпиаде, куда Испанию не пустили по его собственной вине (члены олимпийского комитета и лично месье де Кубертен не простили диктатору обещания покончить с западным миром). Проводились Игры на новеньком красавце-стадионе имени Писарро, гигантской овальной чаше на сто тысяч посадочных мест, и были представлены исключительно “испанскими видами спорта” – болосом, кальвой, пелотой, стрельбой из аркебузы и арбалета, различными видами фехтования и хоккеем на траве. Была и коррида, но на ней Авельянеда не присутствовал, так как не выносил вида крови (что, разумеется, держалось в строжайшем секрете). В некоторых состязаниях он участвовал лично и даже взял золотую медаль в первенстве по стрельбе из мушкета, коей очень гордился (так и не узнав никогда, что прицелы у остальных участников были заблаговременно сбиты его тайной службой безопасности).

Изголодавшийся по величию, одуревший за годы республиканской смуты от бездействия и нищеты, народ принимал все эти новшества с радостью. Всюду, где появлялся царственный “Палафокс”, священная тыква, несущая в своей утробе маленького человека в горчично-сером мундире, его встречали взрывы народной любви, бури патриотического восторга, экстазы обожания. Жницы бросали свои снопы и, обнажая головы, салютовали тыкве радужными платками, рабочие повыше взбирались на строительные леса, чтобы прокричать вождю слова приветствия (случались падения), монахи, подобрав подол, выбегали из келий и что есть мочи звонили в колокола. В ответ из бомболюка летели подарки – целые дожди из леденцов, бюстгальтеров и четвертинок недорогого андалузского табаку – свидетельства того, что любовь взаимна, а щедрость Добрейшего из людей не знает границ.

Но были и другие – те, кто встречал цеппелин с проклятиями на устах и показывал ему непристойные жесты, кто тщетно пытался достать его пальбой

из охотничьих ружей и втаптывал в грязь павшие с неба августейшие дары. Это были неправильные испанцы, ничтожества и бунтовщики, никак не желавшие осверхчеловечиваться и шагать в ногу с остальным народом. Большинство таковых составляли адепты всевозможных политических партий, объявленных вне закона вместе с породившей их треклятой Республикой. Еще вчера эти проходимцы заправляли страной, а теперь сводили счеты с режимом: кто коварно выставленной в кармане увесистой фигой, а кто и булыжником, метко пущенным из-за угла в затылок представителю новой власти. Имя им было легион, но участь одинаково незавидна, ибо и фиги, и разбитые головы полицейских в равной степени посягали на священные устои Империи.

И днем и ночью по всей Испании велась неусыпная борьба с баскскими националистами, каталонскими националистами, галисийскими националистами (Авельянеду всегда удивляло, сколько в этой стране националистов), недобитыми либералами, республиканцами всех мастей, радикальными монархистами и прочей нечистью, мешающей каудильо осчастливливать свой народ. Их расфасовывали по различным тюрьмам и алькасарам и там при помощи специальной гимнастики и диеты навсегда излечивали от политических заблуждений.

Особую роль в выжигании скверны играла личная гвардия Авельянеды, получившая по цвету мундиров название Черной. Под знамена гвардии становились лишь самые отборные, фанатично верные каудильо бойцы, готовые жестоко расправиться с каждым, кто посмеет встать у него на пути. Магистром этого славного рыцарского ордена был генерал Серхио Роха, первый консул Империи, человек, одно имя которого заставляло скисать в домах молоко, а младенцев так сильно пачкать пеленки, что они потом не отстирывались. Роха первым присягнул на верность Авельянеде в день штурма республиканского Мадрида, а после, не дожидаясь приказа, собственноручно вздернул на фонарном столбе президента Аркадио Хименеса. Сумрачный, сухощавый аристократ, несгибаемый и суровый, как идальго былых времен, генерал был предан режиму до самозабвения, и Авельянеда знал – пока Железный Серхио с ним, его власти ничего не грозит.

Под предводительством Рохи черногвардейцы маршировали по улицам испанских городов, волоча за собой тяжелые угольные тени, наводя страх на прохожих, скрепляя своей чеканной поступью веру в сверхчеловека – преторианцы в черных мундирах, глашатаи будущего, доблестные рыцари новой веры. Денно и ночью неутомимые *guardia negro* проводили очистительные

рейды, выволакивая из домов пархатых интеллигентешек с пачками лживых республиканских прокламаций, громя подпольные типографии, рассыпая наборы “Капитала” и “Декларации прав человека”. Изъятое сжигалось на месте, а виновные подвергались публичной порке шпицрутенами, после чего, оплаканные женами, отправлялись в государственные санатории особого разряда, в объятия лучших заплечных дел мастеров, в чьих нежных рабоче-крестьянских руках даже немой, вереща от раскаяния, сдавал сообщников с потрохами.

Наибольшие хлопоты доставляли красные – всевозможные коммунисты, социалисты и анархо-синдикалисты, которые в годы Республики расплодились в количествах невероятных, а после Пыльного мятежа спрятались в подполье. В отличие от трусов-либералишек, которые исподтишка, с оглядкой смущали народ крамольной болтовней о конституции и свободе, плевали в избирательные урны и геройствовали лишь за бутылкой вина в кругу таких же отважных говорунов, как они сами, а на допросах становились робкими и податливыми, как ягнята, красные, эти пачкуны и оборвыши с бородками а la Троцкий осмеливались противостоять режиму куда более решительно и даже – черт их дери – геройски, устраивая засады на черноговардейцев, забрасывая самодельными гранатами штабы “Великой Испании”, единственной законной партии в стране, и оцарапывая стальное днище “Палафокса” не ружейной дробью, а настоящими, кустарной выделки, пулями. Схваченные, они вели себя дерзко, допросов и пыток не боялись, и даже самые острые гвозди порой тупились о волю этих жалких идеалистов. В народе это заслужило им некоторую симпатию, что, разумеется, больно било по самолюбию каудильо. Поскольку и в тюрьме они продолжали вести свою злокозненную марксистскую пропаганду и вербовать себе новых сторонников, все красные без разбора подлежали высылке на Острова, в комфортабельные Имперские трудовые лагеря особого назначения, прозванные в народе Красными Каменоломнями. Там, под жарким тропическим солнцем, на песчаных и каменистых почвах, на которых не приживался даже неприхотливый тамариск, их в избытке одаряли тем, к чему они так страстно стремились, – Коллективным Трудом, так что в каком-то смысле Каменоломни были настоящим коммунистическим раем на земле, только разумно дополненным смотровыми вышками, колючей проволокой и свирепой берберской охраной. Однако и там, покрытые базальтовой пылью, вкалывая на жаре по шестнадцать часов на дню, эти негодяи умудрялись не только выживать (в разумных, естественно, пределах), но и проводить по ночам тайные собрания, привлекать на свою сторону берберов, прельщая наивных жителей пустынь слащавой сказкой о прекрасном мире, где всем и всего будет вдоволь, а главное – что всего более непостижимо – по кирпичику выстраивать здания

новых партий, куда более прочных, чем те, что чудом уцелели на континенте.

Здесь, следуя прихотливой географии Островов, каждый из которых стал тюрьмой для заключенных определенного рода, постепенно сложились Красная Баскония, Красная Кастилия, Красная Каталония, Красная Кантабрия и другие – целый букет коммуно-троцкистских сект, мстительных и непримиримых, как клубок рассерженных змей, жаждущих впиться в спелое тело Империи. Все они позднее, наладив связи через охрану, объединились в Красную Фалангу, могущественную организацию, до того глубоко пустившую корни в каменистую почву архипелага, что истребить ее не могли ни полегчание лагерного рациона, ни прогрессивная система карцеров, ни “черные ураганы”, засылаемые на Острова десанты *guardia negro*, которые прощупывали дубинками и свинцом совесть каждого, кто был хотя бы мельком заподозрен в связях с Фалангой. При содействии все тех же берберов члены КФ укрывались в трюмах грузовых барж (они доставляли с архипелага уголь и хромовую руду), просачивались на материк и разворачивали в городах настоящий террор, совершая покушения на министров, поджигая редакции правительственных газет и оскверняя многочисленные статуи каудильо.

Тех, кто сумел бежать с Островов и был пойман, повторно туда уже не отправляли. Рецидивисты попадали в разряд особых государственных преступников, а таковых ждала смертная казнь.

Машина возмездия, которая в республиканские годы превратилась в скрипучий, неповоротливый механизм, пускаемый в ход лишь от случая к случаю, при Авельянеде заработала четко и бесперебойно, как двигатель лучшей “испаносюизы”, начисто искореняя то, с чем не смогла совладать машина более гуманная – машина исправления.

Казнили не только красных – казнили всех, кто упорствовал в своих мерзостных заблуждениях, казнили контрабандистов, провозивших в страну западные книжонки и фильмы, казнили тех, кто был уличен в “оскорблении величия”, надругательстве над именем или образом Лучшего из людей. Казнили массово, безжалостно очищая породу от вредных примесей, и главное, казнили публично, ибо только такая казнь, по убеждению каудильо, по-настоящему благотворно воздействовала на духовное здоровье народа.

Судопроизводство в таких случаях всегда бывало простым и коротким, как школьный экзамен, с той только разницей, что оценка, проставляемая

в аттестат, была предрешена. В присутствии трех свидетелей (как правило, черногвардейцев, участвовавших в аресте) три напомаженных и припудренных старика – беспощадные фурии Дворца правосудия – выносили виновному смертный приговор, который в тот же день ложился на стол каудильо. Водрузив на нос круглые аптекарские очки, Справедливейший из людей бегло просматривал обвинительный акт и ставил внизу знаменитую на весь мир подпись, короткую и хлесткую, как удар бича, – “А.Г.” – две литеры, ставшие синонимом смерти для тысяч безумцев, осмелившихся посягнуть на его власть.

Зато сама казнь была обставлена пышно, в лучших традициях испанской инквизиции, с заботой о публике и том уроке, который ей надлежало вынести из перехода виновного в мир иной. Некоторой новизной отличалось лишь орудие казни, ибо преступников не душили, как при Бурбонах, и не расстреливали, как при карлистах, – им рубили голову на гильотине, как в несравненные годы Французской революции. Авельянеда понимал, что это маленькое заимствование выглядит непатриотично, но расстрел казался ему недостаточно впечатляющим, а казнь на гарроте – бесчеловечной. Парламент внял ходатайству каудильо, и уже через год после мятежа на Пласа-Майор в Мадриде появилась блистательная машина из дерева и стали, названная в честь величайшего испанского гуманиста “Торквемадой”.

Всю процедуру подготовки и совершения казни Авельянеда продумал сам, наполнив этот прежде заурядный процесс подлинным драматизмом и самобытностью ритуала.

Путь смертника начинался от новой тюрьмы на площади Двенадцати Мучеников, где его облачали в красные балахон и колпак и усаживали в открытую повозку, запряженную тремя холощеными ослами. Покинув тюремный двор, повозка выкатывала на бульвар Империаль, украшенный черными полотнищами, и ехала до улицы Толедо, где строй черногвардейцев в молчании осыпал преступника фасолью и рисом, дарами кроткой кастильской земли, навек провожающей своего заблудшего сына. Затем сворачивали на проспект Святого Франциска и проезжали Королевский собор, колокола которого всюду звонили, приветствуя избранника смерти, после чего по улице Байлен следовали до часовни, выстроенной на площади перед будущим собором Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Там преступника исповедовали и причащали (щипцы для разжимания челюстей держал двухметровый черногвардеец, так что даже самые отъявленные атеисты, как правило, глотали облатку вполне добровольно), затем снова сажали в повозку и везли до улицы Сьюдад-Родриго

(снова рис, фасоль, благоговейно замершая толпа), где и сворачивали на Пласа-Майор.

Казнь совершалась под тысячеголосый хор монахов-доминиканцев в черных плащах с высокими островерхими капюшонами – их плотно сомкнутое каре отгораживало “Торквемаду” от массы гостей, высшего партийного и военного руководства, их нарядно одетых жен, любовниц и ребятишек. Ложа Авельянеды, задрапированная тяжелым траурным бархатом, находилась на втором этаже Каса-де-ла-Панадерия, на месте бывшего королевского балкона. В решающий момент каудильо делал едва заметную отмашечку белым батистовым платком и отворачивался, чтобы не видеть пролитой крови. Пение монахов внезапно обрывалось, subtilный палач приводил гильотину в действие, и в бесплотной, как бы настезь распахнутой тишине раздавался приглушенный капустный хруст. Пухлогубый малыш в гвардейском мундирчике отпускал в небеса белоснежную голубицу, гости рукоплескали, а маэстро Авельянеда, скромный, но суровый судья в концертном костюме с муаровыми лацканами, покидал ложу до следующей казни, вершить которую было для него сродни акту любви – безграничной любви к испанскому народу. Ибо с каждым взмахом батистового платка народ становился чище, а значит, и ближе к той заветной цели, к которой так желал привести его мальчик из далекой знойной Мелильи.

* * *

Меж тем его Империя росла, как растет и наливаются тугой дрожжевой силой дремлющее в квашне тесто.

По всей Испании с севера на юг и с востока на запад пролегли широкие магистрали, наполнившие глухую иберийскую степь ревом автомобильных двигателей. Болота смирились под натиском экскаваторов, и на месте обширных зловонных топей возникли цветущие села, где даже мухи славили Великого Устроителя, подарившего им новую жизнь. Страна обросла мускулами заводов и фабрик, а по ее артериям потекла густая гулкая кровь железнодорожных составов, несущих во все концы Империи нефть и зерно, станки и драгоценные валенсийские кружева.

Могучий испанский колосс пробуждался от векового сна, и пробуждение его, воспетое лязгом строительных механизмов, было прекрасно, как величественная вагнеровская симфония.

Пока народ закалял свои тело и дух, готовя себя к мировому господству, там, вдали от сёл и больших городов, в бескрайних полях Месеты и каменистых ущельях Сьерра-Невады рождалась новая испанская армия.

Она рождалась в горниле учений и в пылу маневров, которые, подобно штормам и ураганам, завывая и грохоча, прокатывались по полуострову с юга на север и с запада на восток. Она ковалась из лучшей астурийской стали и толедского пороха, из свиста авиабомб и громовых приказов, которые Авельянеда, олимпиец и Демиург, паря в своем “Палафоксе”, отдавал войскам в потрескивающий микрофон. Гудели бомбардировщики, распускались в воздухе бутоны парашютных бригад, захлестывали желто-серую степь конные лавины, рокотали пушки, мчались по пыльным дорогам роты военных велосипедистов, крохотные огнемётчики окатывали адским пламенем окопы противника, а сердце диктатора пело от радости, предвкушая минуту, когда вся эта блистательная армада, повинувшись его приказу, обрушится на вражеские поля.

Возглавил новую армию генерал Эмилио Пенья, старый друг и соратник Авельянеды, связанный с ним узами давнего боевого братства. Некогда они бок о бок сражались в мятежном Марокко, ночевали в одной палатке, болели одной на двоих дизентерией, вместе попадали в засады, и теперь, годы спустя, диктатор не забыл своего сослуживца. Застенчивый и нескладный, как новобранец, этот очаровательный заика, за всю жизнь не отдавший ни одного внятного приказа и не проигравший ни одного сражения, был одним из немногих, кому Авельянеда полностью доверял, и благодарный Пенья платил ему такой же безоговорочной, почти мальчишеской преданностью. На парадах и шествиях генерал, без конца поправляя на голове сползающую фуражку, лучился от гордости, как рождественская гирлянда, и это сияние передавалось солдатам, марширующим регулярес и гранадерос, которые любили Пенью почти так же самозабвенно, как восседающего рядом вождя.

Оснащением армии занималось специальное правительственное бюро, названное Комитетом испанской мощи. Под его началом в горах Астурии, в огромных пещерах, укрывающих в своей тени сверхсекретные заводы, ковалось оружие победы, железные фурии войны, способные поразить любого, даже самого заносчивого врага.

Основу бронетанковых войск Империи должны были составить танкетки “Леопард” – мощные, быстроходные машины, превосходившие по своим боевым

качествам лучшие западные образцы. По расчетам военных советников Комитета, тысячи таких машин вполне хватило бы для завоевания мира. Облаченный в полевую форму, Авельянеда лично присутствовал на испытании танкетки в Алавийском лесу и остался доволен: “Леопард” легко преодолевал препятствия вроде поваленных деревьев и самостоятельно выбирался из неглубоких ям, а его пушка демонстрировала чудеса скорострельности, в щелы разнося макеты французских “Гочкисов” и британских “Матильд”.

Но главной гордостью Комитета был сверхтяжелый Испанский танк, гигантская самодвижущаяся крепость, способная в одиночку решить исход целой войны. Это было устрашающего вида чудовище в пятьсот тонн весом, закованное в прочнейшую полуметровую броню, неуязвимую ни для одного орудия в мире, настоящий бронтозавр среди танков, непобедимый сухопутный Левиафан. Он был настолько велик, что башню его собирали в одном цеху, корпус в другом, а гусеницы в третьем, и еще один цех понадобился, чтобы собрать его монструозный двигатель. На танк планировалось установить дюжину спаренных пулеметов особой конструкции и колоссальную двадцатиметровую пушку “Изабель”, отливаемую по спецзаказу в Кантабрии. Управлять крепостью предстояло экипажу из двадцати пяти человек, который уже готовили в специальной школе в Сеговии. Увидев одно только шасси этого танка, Авельянеда пришел в полный восторг, на глазах у рабочих пустился отплясывать севильяну и, похлопывая себя по бедрам и животу, приговаривал, что англичане будут драпать до самой Индии, но и там не найдут спасения – ведь “Изабель”, если потребуется, достанет их на Луне.

Всё складывалось как нельзя лучше, и всё же окрыленный успехом Авельянеда чувствовал, что зданию, которое он строит, чего-то недостает. Он хотел найти символ, который придаст бы его имперской идее бо?льшую выразительность, увенчал ее подобно тому, как крест венчает купол христианского храма. Одного только героического прошлого было недостаточно, нужно было добавить к этой опаре закваску будущего, чтобы тесто Империи как следует взошло.

Недостающий элемент был найден на исходе четвертого года Испанской эры, во время торжественного открытия новой военной части в Мелилье.

Поздно вечером, после банкета, устроенного в честь Отважнейшего из людей, в здании офицерского клуба состоялся показ немецкого фантастического фильма “Девушка на Луне”, присланного Авельянеде в подарок новоизбранным канцлером Германии. Благоухающий олифой и кедром, еще полный

таинственных скрипов ливанского леса, пошедшего на отделку пола и стен, зал был почти пуст. Три исключительно пьяных генерала – те немногие, кто не пал смертью храбрых еще за банкетным столом – вскоре уснули, и оставшийся в одиночестве Авельянеда замороженно наблюдал, как стартует в эбеновом полумраке сигарообразное нечто, именуемое “ракетой”, как убывает и теряется во мгле игрушечная Земля и как горстка храбрецов, покрыв непостижимое расстояние, высаживается на поверхности далекой полуночной планеты. Фильм произвел на него такое же сильное впечатление, какое здесь же, в Мелилье, произвела на маленького Аугусто книга о Кортесе и Писарро. Он слышал могучий храп генералов, слышал деловитый шелест пленки в проекторе, слышал покашливание киномеханика, равнодушно следившего сквозь очки за мельканием сцен на экране, но слышал как бы издали, чудесным образом оглушенный немой действительностью картины. Он был подобен бездушному Голему, к сердцу которого подобрали магический ключ, и этим ключом было слово “космос”, такое же загадочное и пугающее, как слово “Бог”.

Глубоко за полночь, пересмотрев фильм дважды (к концу сеанса киномеханик задремал, и Авельянеда сам – неловко и торопливо – переставил катушки в проекторе), он, пошатываясь, будто пьяный, вышел на свежий воздух и долго смотрел в черное африканское небо. Где-то вдали надрывно лаяла собака, лязгала цепь, и ничего не было в целом мире кроме этой собаки, диктатора и неподвижной бездны, в которой вращались и притягивали к себе другие, непознанные миры. Он знал об их существовании и прежде, смутно слышал названия этих мерцающих маленьких светляков, но что человеку под силу до них дотянуться, сшить иглою ракеты разъятые мраком небесные берега, открылось ему только теперь.

В ту ночь Авельянеда понял, к чему должна стремиться Испания будущего. Ибо Земля конечна, и даже завоевав ее всю, вплоть до полярных ветров, испанцы возжаждут новых свершений. В этом было проклятие всех великих империй прошлого: чувствуя приближение тупика – края земли, за которым уже нечего вожделеть, – они теряли волю к дальнейшему росту, приходили в упадок и распадались. Испанцев не постигнет такая судьба. Вернув себе утраченное господство, они обратят свои взоры к звездам, символу и воплощению бесконечности, к какой стремится всякая истинная Империя. Авельянеда понимал, что полет, показанный в этом фильме, – пока лишь предчувствие, лишь мечта, но нисколько не сомневался, что уже завтра ученые облекут мечту в железную плоть, ракета встанет на старт, швартовы будут отданы и новые испанские аделантадо отправятся на покорение Вселенной.

С той знаменательной ночи космос прочно завладел сознанием Авельянеды.

Он выписал все какие только были фантастические книги и фильмы и целые дни напролет с жадностью школьника поглощал истории о космических путешествиях, о высадке на Луну и Марс, о дерзновенных попытках достичь далеких галактик. Кортес и Писарро были забыты – в сердце диктатора их потеснили герои Уэллса и Жюль Верна, конкистадоры будущего, взыскующие иных, горних миров.

Его спальня и кабинет в президентском дворце под Мадридом были буквально наводнены лунными глобусами, картами звездного неба, секстантами, квадрантами, астролябиями, коперниковскими моделями вселенной, исполненными в дереве, металле и слоновой кости, гномонами, сферами Авагадро и, наконец, макетами различных космических кораблей, присланными вождю чудаками и сумасшедшими со всей Империи. Утром, за кофе и парочкой поджаристых чурро с корицей, он обсуждал с камердинером достоинства и недостатки протазановской “Аэлиты” и “Марсианских хроник” Макса фон Гугенхайма (на сеанс – в образовательных целях – допускалась прислуга и офицеры охраны), а сумерки коротал в астрономических наблюдениях, проводимых под руководством Якопо Браво, пожилого маститого звездочета из Королевской академии наук.

На смену вечерним прогулкам пришли ночные полеты на “Палафоксе”. Авельянеда приказывал поднять дирижабль на максимальную высоту, устраивался у окна с подзорной трубой и любовался большой желтолицей Луной, испеченной где-то восточнее, на Мальорке, и доставленной прямым рейсом сюда, в предместья Мадрида. “Палафокс” плыл в пучине палевых облаков, восседающий на оттоманке Браво читал занудную лекцию о кратерах и морях, украдкой смахивая перхоть с касторового жилета, а Авельянеда млел от восторга, как неопит, приобщаемый к благодати не словом, но самим светом явленного ему во всей своей славе полуночного божества.

Увлечение диктатора повлекло за собой некоторое послабление режима. Будто убоявшись чего-то свыше, “Торквемада” несколько умерила свой пыл, а из Каменоломен было освобождено с полсотни астрономов и специалистов в области авиации.

Авельянеда призвал к себе одного из них, видного инженера Рэйнальдо Руэса, годом ранее посаженного по обвинению в связях с Фалангой, и, одарив

милостивым кивком, спросил, скоро ли, по мнению дона Рэйнальдо, Империя сможет построить ракету для полета, скажем, на Луну, и в какую примерно сумму это обойдется казне. Руэс помолчал, погрузил в каудильо взгляд своих флегматичных немигающих глаз, как погружают перо в чернильницу, и, передвинув из одного уголка рта в другой потухшую сигарету, равнодушно ответил:

– При нынешнем положении испанской науки – лет через двести. – Сигарета вновь пропутешествовала у инженера во рту. – Я подобью вам смету. Дон.

Сдержав забившуюся внутри холодную, скользкую, словно рыба, ярость, Авельянеда просиял сладчайшей из своих улыбок и попросил наглеца убираться вон. Впрочем, на предложение своего адъютанта отправить Руэса обратно на Острова, подумав, ответил отказом.

Увы, прогнозы других ученых оказались не лучше. Игнасио Агилар из Мадридского университета, без конца теребивший глянцевику заячью губу, назвал срок в пятьдесят лет (“Пятьдесят-шестьдесят, мой сеньор. Но никак не больше семидесяти, я полагаю”), а профессор Суарес из Барселоны – в тридцать, при наличии, разумеется, развитой научно-технической базы, какой сейчас, по мнению профессора, Империя не обладает.

– Но даже и в таком случае, – сухо заметил Суарес, поигрывая цепочкой карманных часов, – речь может идти о запуске в космос, скажем, поросенка или пары собак, но никак не о полете человека на Луну.

Но Авельянеда не отчаялся. Дня два он пребывал не в духе, был груб с прислугой, отказался от лекций Якопо Браво, после же, пересмотрев “Девушку на Луне”, твердо решил, что все эти ученые выскочки ни аза не смыслят в космических путешествиях – пройдет время, и новоявленные братья Райт (Лопес, Мартинес) утрут нос их жалким научным теориям.

Больше того – всего через год в горах Сьерра-Невады, неподалеку от Муласена, была возведена великолепная обсерватория, которой, по замыслу каудильо, надлежало стать символом нового испанского пути. Выстроенная на высоте почти в три тысячи метров из голубого абиссинского мрамора, делавшего ее неотличимой от окружающих облаков, она обошлась казне в такую же заоблачную сумму, но звание “прекраснейшей камеи Империи”, каким тотчас

удостоили ее радио и газеты, оправдывала вполне. Ее алебастровый купол венчал собой вершину отвесной скалы и тем самым как бы указывал на извечную недостижимость самих звезд, до которых лишь сверхчеловеческое усилие испанского народа позволит когда-нибудь дотянуться. Указывала она и на особый статус того, кто возглавит народ на этом пути, поскольку в здании на горе разместилась также и летняя резиденция каудильо. Ведущая вверх канатная дорога, охраняемая специальным отрядом черногвардейцев, при необходимости отключалась, и вознесенный над отвесными кручами храм небесной науки с легкостью превращался в неприступную крепость.

Авельянеда любил эту обсерваторию и часто приезжал сюда с какой-нибудь очередной Клареттой или Хуаной, каковые порой – втайне, разумеется, от народа – скрашивали его суровую холостяцкую жизнь. Эти визиты были полны тайного предвкушения – предвкушения чресел и сердца, – оно достигало своего пика в гондоле канатной дороги, когда, прижимая к себе хихикающую мамзель, Авельянеда поглядывал вверх, туда, где светилась желтыми окнами его космическая обитель. Каменистый склон с проплешинами снега валился в студеную мглу, внизу, у опор, приплясывали от холода верные черногвардейцы, и тем притягательнее казалось тепло там, наверху, где слуги уже всю топил печи, а повара готовили ужин в маленькой кухне с окнами, выходящими на Муласен.

Кларетту он любил коротко, по-военному, не снимая кавалерийских сапог, разделявших все скрипучие пароксизмы его поспешной диктаторской страсти, а когда прелестница засыпала, разметав по подушке влажные волосы, тихонько прокрадывался к заветной трубе и любовался на Сириус и Алголь, снедаемый уже другой, неутолимой страстью, жаждой просочиться сквозь телескоп, кануть в холодный космический омут. Так, томясь несбыточным желанием, он проводил у “Цейса” всю ночь; когда же звезды тускнели, сдавая свои полномочия заре, возвращался в комнату, где еще спала, зарывшись в подушки, Кларетта, поливал свой любимый амариллис в желтом терракотовом горшочке и выходил на террасу, по которой уже ползли, отделяясь от парапета, первые сапфировые тени. Абиссинский мрамор дышал накопленной за ночь прохладой, внизу, за ватерлинией парапета, колыхался туман, желтоватый, точно цыплячий пух, и такой плотный, что на нем ничего не стоило станцевать. Темнели, словно тучи перед грозой, и резче становились очертания гор – древних, могучих космических кораблей, высеченных Саваофом прямо из вечности, а чуть дальше, за ними, просачивалась в ущелье расплавленная медь, жирная, тугоплавкая, медленно и как бы с некоторым сомнением принимающая форму круга. В такие минуты Авельянеде казалось, что отсюда, с этой самой обсерватории, начнется

возрождение мира и что свет истины, которую она собой воплощает, подчинит себе землю так же неудержимо, как подчиняет себе долину солнечный свет.

День он проводил, набрасывая в альбоме эскизы новых военных орденов, которым почти всегда придавал излюбленную форму звезд, потом долго спал, созерцая легкие, приятные, необременительные сны, а ночью вновь уединялся в круглом зале, вбирая в себя древний, тысячелетней выдержки свет, процеженный сквозь мощную оптику “Цейса”. Кларетты обычно к телескопу не допускались, но для иных, самых любимых, Авельянеда шел на уступку и делился своими сокровищами: нежной аквамаринной Вегой или медовым, цвета темного янтаря, Арктуром, которые стоили в его глазах значительно больше, чем те дареные побрякушки, что мерцали на шее избранницы. Впрочем, ни одну женщину он никогда не любил по-настоящему – Испания была его единственной любовью, Испания и еще космос, с которым он надеялся когда-нибудь обручить свою земную империю.

Он жаждал этого так сильно, что еще полгода спустя приказал возвести на востоке Ла-Манчи небольшой космодром, вроде того, что видел в немецком фильме. Ракета, правда, была пока деревянной, но Авельянеда верил, что уже совсем скоро наука – вопреки посулам всех доморощенных пессимистов – сумеет заменить ее настоящей. Космодром тщательно охранялся: тайну испанского космоса берегли высокий забор, сторожевые вышки с пулеметами и батальон вооруженных до зубов *guardia negro*. В отдельном крыле помещались бутафорские службы, командный пункт из высокотехнологичной фанеры и миниатюрный гостевой домик вроде охотничьего, с верандой, обращенной на стартовую площадку. Здесь, отдыхая от дел, Авельянеда останавливался на денек-другой и, созерцая деревянный омфал, размышлял о судьбах мира, который обретет свое оправдание в тот самый момент, когда ракета, объятая священным огнем, совершит рывок в бесконечность. Побрякивал на ветру китайский бамбуковый колокольчик, дымилась на столе нетронутая чашка кофе, а Разумнейший из людей переживал мистическое слияние со всем сущим, как восточный мудрец, постигающий тайну вселенной в созерцании древнего храма.

Однако чем глубже он проникался мечтой о космосе, тем отчетливее понимал, что покорить его можно, лишь собрав в кулак все ресурсы Земли. Задача была слишком дерзкой, слишком амбициозной, чтобы решить ее силами того клочка суши, что дан ему в управление. Так некогда Святая католическая церковь не представляла себе спасения человечества до той поры, пока власть римского папы не утвердится на всех пяти континентах: лишь наполнившись молитвами

всех верующих на земле, храм Святого Петра мог воспарить к небу и увлечь за собой, подобно буксиру, остальной человеческий род. Путь Империи сходен, с той только разницей, что для обручения с небом ей требуются не молитвы, а сама Земля и богатства, сокрытые в ее недрах. Ракета не взлетит, пока земные уголь и нефть, молибден и уран, бериллий и цинк, туллий и галлий, цицерон и протон – вся периодическая таблица, черт ее дери, – находятся в руках у буржуев и идут на выделку дамских шляпок и сувениров, вместо того чтобы служить вековечной мечте. Омфал останется неподвижным, пока на флагштоках утраченных Испанией городов болтаются самозванные тряпки, а могилы Кортеса и Писарро попораны индейскими полукровками. Лишь как следует утвердившись на Земле и стряхнув с нее буржуазный морок, можно устремиться к высшей цели. Это знали еще Юлий Цезарь и Бонапарт, и ему, их наследнику, не свернуть с предначертанного пути.

Вскоре у него нашлись единомышленники.

Однажды, в первых числах марта (солнце садилось за проволоку, над космодромом вилась легкая апельсиновая дымка), Авельянеда получил телеграмму от глав Италии и Германии с приглашением поучаствовать в небольшом закрытом совещании в Вене. На встрече предлагалось обсудить важные топографические и геодезические вопросы, а также “некоторые частности послевоенного межевания, картографирования, демаркации и мира во всем мире”. Всё это напоминало объявление о конференции землемеров, но Авельянеда сразу учуял тайный посыл. Больше того – он давно ждал его, ждал, что однажды протянется с другого конца Европы дружественная рука и предложит ему военный союз. Заинтригованный, он отменил предстоящую поездку на каучуковый завод в Севилье и, предупредив авторов телеграммы, что с радостью примет участие в совещании, отправился в Вену.

Перелет занял двенадцать часов, и всё это время, вглядываясь в хрустальную синь, сквозившую в иллюминаторы “Палафокса”, Авельянеда думал о том, что момент истины приближается. Он ждал этого момента сорок лет, и все сорок лет словно продолжал сидеть на коленях отца с той газетой в руках, мучительно переживая позор, покрывший его отечество. Пора было наконец спуститься с отцовских колен и смыть этот позор, вернуть Испании место, по праву принадлежащее ей на земле.

За бортом, царапая небосвод, дрейфовали на юго-запад гигантские айсберги – вершины сначала Пиренеев, а затем и Альп, – и вид этих громад еще больше

укреплял Авельянеду в его решении, ибо показывал тождество его мечты о земном господстве с мечтой о небесном. Сама земля отчаянно тянулась ввысь, к небу, вставала на цыпочки, чтобы воссоединиться с солнцем, радугой, облаками, светом звезд, и нужно было лишь помочь ей сделать последний рывок – утвердить на Земле такую власть, которая возглавила бы это движение.

Повестка встречи, проходившей в одном из бесчисленных сусальных залов замка Шенбрунн, над которым отныне вместо австрийского флага развевался германский, вполне оправдала его ожидания. После необходимых прелюдий – дружеских похлопываний по плечу, лобызаний, ужимочек и экивоков – два обаятельных диктатора, немецкий и итальянский, синхронно переглянулись, откашлялись в кулачок и, разложив на столе необъятную карту, предложили ему участвовать в разделе мира. Все трое – с разной степенью совершенства – владели языком *des Sturm und Drangs*, так что в переводчиках не было ни малейшей нужды.

– Мужайтесь, – сказал немец, сухонький бледнолицый бонапарт с повадкой фельдфебеля, ряженного в генеральскую форму. – Развязка близка.

– Да, да, – подтвердил итальянец, потирая маленькие пухлые ручки. – Большая будет буча.

В душе Авельянеды хлопнула пробка от шампанского. Это были именно те, кого он искал.

Желая немного помучить своих новых знакомых, он внушительно помолчал, несколько дольше, нежели следовало, удержал иронично приподнятую бровь и, лишь когда на лицах хозяев появились первые признаки беспокойства, не колеблясь указал на карте всю западную Африку вплоть до Трансвааля, обе Америки и Филиппины.

Диктаторы поперхнулись от такого аппетита, но посоветовались и дали свое согласие. Немец попросил оставить ему Европу западнее Мааса, Польшу, Скандинавию с Гренландией и всю Россию вплоть до Камчатки, итальянец – восточную Африку, Ближний Восток и Индию с прилегающими островами. Лежащую на столе депешу японского императора, который заявлял о своих скромных претензиях на Австралию, Индонезию и Китай, решили обсудить позднее.

Засим, выдержав театральную паузу, несколько смазанную их собственным лихорадочным нетерпением, диктаторы одернули перед каудильо неприметную шторку и с торжественным видом отступили в сторону.

В просторной четырехугольной нише, вероятно, бывшей гардеробной австрийского императора, помещался громадный макет – и даже не макет, но целая Илиада, живописный рассказ о грядущей битве между силами добра и зла. По бескрайней зеленой равнине, отороченной с севера чахоточным перелеском, ползли на запад сотни миниатюрных танков с намалеванными на башенках немецкими и итальянскими флажками – неумолимый железный оползень, уверенно подминающий под себя кукольное пространство. Минуя неглубокие рвы и затянутые ряской болотца, они штурмовали вражеские позиции, где танки под английскими и французскими флажками уже вовсю полыхали картонным огнем, а горстка союзнических солдат в панике металась у чахлах пушечек, бессильных остановить итало-германский натиск. За “Панцерами” двигались мириады серых солдат – блошиный Вермахт и муравьиная Armata: врываясь в окопы, они добивали прикладами молящих о пощаде французишек и закалывали штыками оцепеневших от страха англичан. Бой кипел также и в воздухе – эскадрилья подвешенных на леске американских “кёртиссов” удирала от немецких “мессершмиттов”, яростно шпаривших по трусливым янки из крупнокалиберных пулеметов. Все детали были выполнены превосходно, нигде нельзя было отыскать двух солдат с похожими лицами.

Напротив, над туалетным столиком из темно-зеленого жилистого малахита, висела еще одна карта, поменьше, на которой будущий театр военных действий представал уже во всей своей географической конкретности, с названиями городов, красными и синими клещами наступающих армий, штриховками плацдармов и пунктирами оборонительных линий. Возбужденные, перебивая и отталкивая друг друга, диктаторы тыкали в карту указками, разъясняя, как именно будет разгромлен западный альянс, и прежде всего Франция – их главный противник на континенте. Предполагалось, что Германия ударит с востока и севера, в обход линии Мажино, попутно захватив Бельгию и Голландию, Италия – с юго-востока, в мягкое подбрюшье Савойи и Прованса, а Испания – с юга, со стороны Гаскони и Лангедока, каковые по завершению войны перейдут в ее полное и безраздельное владение. Полководцы также выразили надежду на своевременную инициативу каудильо в западной и центральной Африке: в разгроме англо-французских сил в этом регионе ему поможет Италия, чьи войска в Ливии и Абиссинии уже приведены в полную боевую готовность. На подготовку европейской кампании предлагалось

потратить не более полугода – достаточный срок, чтобы обмозговать все детали и поставить под ружье нужное количество новобранцев.

– Как раз поспеет к сбору бургундского винограда, – пошутил итальянец и захлебнулся густым белозубым хохотом, поддержанный скрипучим канцелярским смешком немецкого фельдфебеля, чьи глаза еще плотоядно горели, прожигая в старушке Европе невидимую дыру.

Авельянеда снисходительно выслушал их, мягко перехватил у итальянца указку и поразил карту тремя точными, взвешенными движениями. Он указал на некоторые ошибки в схеме линии Мажино, посоветовал Германии не мешкать с вторжением в Польшу, во избежание сюрпризов со стороны последней, и заявил, что не только поддержит французскую и африканскую кампании, но и ударит вот здесь – указка скользнула к изножью Пиренейского полуострова. Его granaderos отобьют у британцев Гибралтар – ключ ко всему Средиземному морю. Италии останется запереть Суэцкий канал, и весь союзный флот от Леванта до Альборана попадет в одну большую безвыходную ловушку – авиация сможет расстреливать его, как в тире.

Речь Авельянеды вызвала бурные и продолжительные аплодисменты. Диктаторы подивились стратегическому гению каудильо и выразили сожаление в том, что не имели удовольствия общаться с ним прежде. После краткого и непринужденного обмена любезностями компаньоны решили, что сначала разобьют союзников в Африке и Европе, затем вторгнутся на Британские острова, а дальше будут действовать по обстоятельствам – благо, карта мира сулит еще немало приятных возможностей.

Договор скрепили бутылкой хереса из фамильного погреба Бонапартов, недавно найденного под Неаполем. Немец, известный трезвенник и аскет, пригубил из рюмки совсем чуть-чуть, дуче и каудильо позволили себе несколько больше. Итальянец завел пластинку – что-то джазовое, нью-йоркское – и принялся озорно пританцовывать в такт негритянской мелодии, покачивая крупным, породистым телом, втиснутым в мундир цвета вареной спаржи. Разомлев от вина, а больше всего от мысли, что наконец-то обрел друзей, которых ему втайне всегда не хватало, Авельянеда, краснея от смущения, поведал о своей мечте покорить космос. Тщетно пытаясь придать голосу одновременно убедительность и непринужденность, он признался, что после войны намерен построить ракету и запустить ее, скажем, к Луне или к Марсу: ведь человечество не сможет вечно довольствоваться этой крохой – тесной и несовершенной Землей. Как бы

в подтверждение его слов в камине оглушительно треснул и выпал на мраморный пол маленький тлеющий уголек.

Но диктаторы, вероятно, были слишком поглощены планом предстоящей баталии. При слове “ракета” немец лишь напыщенно усмехнулся, заявив, что Германия уже кое-что предприняла в этом вопросе, и отошел к макету, где, похихикивая, принялся азартно валить указкой французских солдат. Итальянец же, в свой черед, с улыбкой приобнял Авельянеду за талию и, назидательно вздернув указательный палец, сказал:

– Да, космос, космос... Но прежде всего – Земля!

На прощанье немец прикрепил к груди каудилью золотую свастику (оказавшуюся впоследствии латунной), итальянец – платиновую (медную) римскую фасцию, после чего союзники расцеловали его и отпустили с миром – готовиться к войне.

Домой Авельянеда возвращался в деятельном возбуждении, какого с ним не случалось с тех самых пор, когда ржавые танки его Первой марокканской дивизии вползли в осажденный Мадрид, а президент Хименес сплясал румбу, повиснув на уличном фонаре. Перед его глазами всё еще стояла шенбруннская карта с красными и синими клещами наступающих армий и штриховками плацдармов, только теперь эти армии действительно наступали, плацдармы захватывались, барабанщики вели вперед стальные когорты, а трусливые gabachos отступали сначала к Парижу, а затем в Нормандию и Бретань, где целыми дивизиями сдавались в плен победоносным войскам Венского пакта. Машинально нащупывая на груди прохладный металл, он смотрел на проплывающие внизу поля Лангедока и южной Гаскони и думал о том, что скоро все эти несметные пажити станут испанскими. Ресурсы, добытые здесь, он обратит в танки и десантные корабли и двинется дальше, за Атлантику, в Новый Свет. Империя Золотого века восстанет из праха, и когда блудные земли вновь соберутся под ее крылом, все силы и богатства этих земель, все их знания и премудрость будут отданы главной цели. Там, в лесах Амазонии, на вершинах пирамид Мексики и Перу, в рудниках Кубы и Аргентины будет добыт священный огонь, который наполнит чрево ракеты и вознесет ее ввысь, к звездам, на поиск новых, небесных Мексик и Аргентин.

Наверху приглушенно гудели могучие, как тысяча чертей, двигатели “Даймлер”, дирижабль прокладывал дорогу в отаре кучевых облаков, а его единственный пассажир уносился мыслью всё дальше в будущее, так, словно это он, а не

“Палафокс”, хватая ртом стремительный ветер, таранил грудью бархатный небосвод.

Следующие несколько месяцев прошли в подготовке. Забросив обсерваторию и космодром, он проводил нескончаемые парады и смотры, инспектировал военные части, аэродромы и корабли, проверял на матросах и пехотинцах каждую пуговицу, каждый ремешок, полный заботы о том, чтобы в предстоящей битве народов его армия даже в мелочах показала себя совершенной. С утра до вечера солдаты Пеньи и черногвардейцы Рохи демонстрировали ему свою выучку, брали на плечо и равнялись на середину, маршировали по плацу и выполняли все замысловатые па строевого танца, всем своим видом удостоверяя готовность отправиться за вождем хоть в адское пекло.

Истинный каудильо своего народа, Авельянеда первым взбирался на стены бревенчатых крепостей, пренебрегая скамеечкой, которую носили за ним верные адъютанты, по колено увязал в грязи, участвуя в марш-броске на захваченную условным противником Вильяфранку, замерзал в глубоком снегу, переходя с отрядом горных стрелков перевал Коронас в Центральных Пиренеях, перерезал телеграфные провода и душил кур в курятниках, руководя вылазкой диверсантов в деревеньке под Монтестерио, рвал кольцо парашюта, выпадая из гулкового “юнкерса”, зависшего над бурой лентой Гвадалквивира, вытаптывал брокколи и латук в лихой кавалерийской атаке под Альфамброй. Он растворился в армии, стал ее неутомимым солдатом, на равных со всеми перенося тяготы походной жизни, ел из одного котелка с простыми мурсийцами и арагонцами, ночевал в одной, насквозь пропотевшей, палатке с погонщиками мулов, рыбаками и пахарями со всей страны. Утром он вытягивался в строю, отдавая честь имперскому знамени, и громко, торжественно откликался на свое имя во время поверки, днем постигал таинства шагистики или искусство владения навахой в ближнем бою, а вечером, созерцая пыльный померанцевый закат, писал в дневнике стихи о войне, длинные, восторженные стихи, которые ночью, в палатке, сдерживая биение чувствительного сердца, перечитывал при свете керосиновой лампы. Война стала его музой, его возлюбленной и снилась ему каждую ночь – в виде титанического трофея, который его солдаты возводили посреди пустыни из обугленных частей французских и английских танков.

Он посещал секретные заводы в Астурии и самолично следил за выпуском винтовок и пулеметов, гаубиц и мортир, сабель и штык-ножей, пистолей и мушкетонов. Бродя по сумрачным цехам, освещенным адскими всполохами плавильных печей, он ободрял уставших и усовещивал нерадивых, проверял

клепку и пайку, взбирался на станки и читал небольшие вдохновенные речи о целях предстоящей войны, а иногда – мужественные стихи Кальдерона, пожиная скромный аплодисмент и благодарные улыбки покрытых копотью оружейников. Как средневековый алхимик, он подсчитывал на бумажке, сколько потрачено сулемы, цинка и олова, гремучей ртути и гремучего серебра, бертолетовой соли и медного купороса, и, не жалея спины, сам таскал мешки с этими химикалиями с потаенных подземных складов. Не желая ни на минуту покинуть производство, он ночевал прямо в цеху, расстелив на цементном полу армейское одеяло, а наутро, едва продрал глаза, становился у станка и собственноручно вытачивал на фрезе какой-нибудь боек или затвор. Здесь же, у станка, он делил с рабочими хлеб и рассказывал им о звездах, о Сириусе и Арктуре, Веге и Альфа-Центавре, о том, что уже совсем скоро человек сможет прогуляться по Луне как по Пуэрта-дель-Соль – нужно только отбить у капиталистов захваченную ими Землю, и тогда каждый испанец получит свой собственный билет на небо, этакий звездный вексель, по которому позднее можно будет легко истребовать свой личный кусочек Юпитера, или Марса, или охристо-желтой Венеры. Рабочие, дюжие небритые астурийцы, улыбались, кивали, говорили: “Это точно, сеньор, билет на небо”, смахивали крошки с заштопанной робы и шли дальше вытачивать на станках пушки и пулеметы – орудия постижения космоса. Ведь небо нужно было сначала как следует взрыхлить и засеять (лучше трехдюймовыми, что вернее), а уже после обмолачивать с него звезды, на которые судьба уже всю выписывала испанцам бессрочные векселя.

Кульминацией подготовки явилось испытание Испанского танка. Его спустили на грунт в пронзительно-ясное июньское утро, когда вся страна отправилась к торжественной мессе по случаю дня святого Антония. На глазах Авельянеды, празднично одетых рабочих и пестрой свиты из всевозможных камергеров, камердинеров и камер-юнкеров из огромного цеха, укрытого в чреве древней карстовой пещеры, грохоча колоссальными гусеницами, сотрясая землю, деревья и зависшие над склоном низкие облака, выполз ветхозаветный Левиафан, кошмарное порождение Тартара, исчадие астурийской преисподней. Сначала появилась чудовищная “Изабель”, подобная фаллическим божествам африканских народов, неохватная, как футляр для циклопической секвойи, и только чуть погодя (стоявший рядом полковник успел выкурить сигарету) – сам танк, несокрушимый, как броненосец, великолепный сухопутный дредноут, оцетинившийся турелями, спонсонами, казематами и торчащими из них капонирными пушками – хищной свитой царственной “Изабелы”. Броня для пущего устрашения была покрыта большими конусовидными шипами, а полдюжины выхлопных труб извергали облака ядовитого дыма, от которого

замертво падали порхавшие над поляной бабочки и мошкара. Когда грохочущий Минотавр полностью покинул пределы пещеры, поляна слегка покачнулась, восхищенно вздохнула и взорвались аплодисментами, но один-единственный дирижерский жест каудильо разом унял хлопотливую бурю. По просьбе Авельянеды было решено тут же, не дожидаясь полигона, испытать “Изабель”. Минуту спустя из цеха появился небольшой бронетранспортер и при помощи портативного подъемного крана поместил в люк танка исполинский снаряд. По команде Авельянеды поляна заткнула уши, а сам он взмахнул поданной ему палисандровой тростью. “Изабель” издала механический звук, чуть-чуть подвинулась вправо, выбирая в долине незримую цель, и потрясла горный хребет сокрушительным выстрелом. Последствия были самые ужасающие. В васильковой дали, у рыжего горизонта, клокоча и изрыгая на ходу тысячелетнюю ненависть, сошла по скалистому склону грандиозная снежная лавина. Малахольный официант, державший поднос с напитками, картинно хлопнулся в обморок, а кирпичная сторожевая будка у входа в пещеру, помедлив, рассыпалась в прах. Авельянеда опустил трость и подарил гостям обаятельную улыбку.

Испания была готова к войне.

* * *

Он хорошо помнил тот день, день вступления в войну, весь выполощенный в знаменах и флагах, пестром качании плюмажей, султанов и перевязей, полный бряцания кимвал и ропота барабанов, славный, волнующий, незабываемый день. В ноздри бил запах конского пота и терпентиновой ваксы, которой офицеры натерли свои сапоги, горячего булыжника и мириады цветов, которые женщины столицы бросали под ноги марширующим полкам. Балконы окружающих домов так ломались от зрителей, что перила, казалось, вот-вот полопаются от натуги, а над запруженными тротуарами господствовали двух- и даже трехэтажные люди – рослые мадридцы, оседланные друзьями, подругами и детьми. Солнце пружинило и играло в оконных рамах, штыки и бляхи солдат полыхали неземным огнем, фонтаны испускали каскады бирюзовых искр, а душа каудильо шурилась и млела от удовольствия, так же, как и пальцы его ног, приятно переминавшиеся в уютной темноте новых хромовых сапог.

Когда построение было завершено, барабаны смолкли и необъятная, многоручная Пласа де Эспанья замерла в ожидании, а кинохроникеры на

крышах навели на него механические бельма своих “Ариффлексов”, он шагнул на трибуну и взял бразды тишины в свои властные руки. Было слышно, как вдалеке, на углу улицы Сан Леонардо, зашелся в кашле старик и как кто-то заботливо стукнул его по спине, попросив придушенным голосом захлопнуть свою кошелку.

– Солдаты и офицеры Империи! Кастильцы и арагонцы, наваррцы и андалузцы, братья и сестры! – грянул Авельянеда в клокочущий микрофон, стараясь не смотреть, как лошадь стоящего впереди конного полицейского роняет на мостовую медные яблоки. – Ныне мы начинаем новую реконкисту, реконкисту духа, ибо как наши славные предки очистили землю отечества от вероломных мавров, так и мы, их гордые правнуки, очистим планету от плутократов и прихлебателей всех мастей, держащих в неволе человеческий дух!

Тут динамик сорвался в звонкую фистулу, и на мгновение площадь оглохла от скрежета и свиста, сквозь которые, однако, вновь прорвался мощный, громоподобный глас каудильо.

– К оружию, испанский народ! Докажите свою стойкость, свое мужество, свою доблесть! Сорок веков истории смотрят на вас с иберийских вершин. Сражайтесь храбро, бейте врага без жалости, и отечество не забудет вас! И помните: сегодня нам принадлежит Испания, а завтра – весь мир! Вива ла патриа!

– Вива ла патриа! – прогрехотали солдаты, вскинув руки в испанском приветствии, и тысячи солнечных бликов зажглись на стальных нагрудниках.

– Вива ла патриа! – откликнулась площадь, поколебав не только дома, деревья и мостовую, но и саму преисподнюю, так что и дьявол в эту минуту, должно быть, убоился за свою судьбу. Какой-то чудаки в избытке патриотического восторга взобрался на перила балкона и тут же камнем полетел вниз, но был вовремя подхвачен бдительными руками. Счастливчика опустили на землю и надавали ему тумачков, но он, хмельной от преданности к вождю, уже рвался вперед и кричал вместе со всеми “Вива!” и “Арриба Испания!”.

Раздались первые барабанные такты. Командующий парадом, толстый генерал Очоа в блестящей каске с петушиным пером, взмахнул перевитым жезлом с пурпурной кисточкой на конце, площадь нестройно затянула гимн Двенадцати мучеников, и войска двинулись вверх по Гран Виа, на борьбу с тьмой

и неправдой, на жестокую схватку с гидрой мирового капитала, затаившейся в своем сумрачном логове.

Час пробуждения наступил. Перед трибуной вождя, впечатывая в булжник всю свою отвагу и удаль, проходили автоматчики и пулеметчики, карабинеры и артиллеристы, огнеметчики и саперы, мотострелки и танкисты, пикинеры и алебардчики, рейтары и кирасиры (тут, впрочем, Авельянеда уже мысленно перенесся в далекое прошлое, в те времена, когда из ворот столицы в таком же согласии выступали в поход войска Его Величества Короля). Военные велосипедисты вели под руль свои верные боевые машины, понтонщики несли доски и скрепы для будущих стратегических переправ, военные повара катили окутанные дымом полевые кухни – вся армия как единое тело шла прокладывать дорогу в грядущее, и точно так же за сотни километров отсюда двигались ей навстречу армии союзных держав. Замыкали шествие музыканты, жарившие что-то до того прекрасное, что у Авельянеды слезы навертывались на глазах, а селезенка приятно ёкала в боку в такт басовитому кваканью труб. Это был самый счастливый день в его жизни. Он еще не знал тогда, что Парка, прядущая нить его Империи, уже лязгнула своими ржавыми ножницами.

Войска с песнями и музыкой выступили из Мадрида и других городов, а уже в нескольких километрах от французской границы были в пух и прах разбиты армией маршала Петена. Огромная размалеванная декорация, именуемая Испанской Мощью, – декорация, с таким усердием созданная легионом правительственных бутафоров, желавших потрафить своему каудильо, от первого же толчка треснула и с оглушительным грохотом завалилась.

Танкетки “Леопард”, в которые были вложены миллионы песет, массово глохли в самом начале атаки, не получив ни единого попадания и даже не вступив в бой; те же немногие, что добирались до позиций врага, бесславно гибли под обычным пулеметным огнем, насквозь прошивавшим хваленые астурийские панцири. Испанский танк, захватив стратегически важный курятник к северо-западу от Ласса и оказав деморализующее воздействие на врага (трусливые местные фермеры позорно бежали, побросав на жнивье недовязанные снопы), развить свой успех, однако, не смог, поскольку увяз под собственной тяжестью на раскисшем люцерновом поле близ Аскарары. Контратаку французской пехоты удалось отразить одним-единственным залпом из головного орудия (неразорвавшийся снаряд упал в двенадцати километрах к северу, на железнодорожном перегоне Клиши – Сюр-де-Мезюр, где позднее был принят крестьянами за опрокинутую бензиновую цистерну), но второй выстрел оказался

для машины роковым. Снаряд переключило в стволе “Изабели”, и флагман испанских бронетанковых войск разорвало на куски, что вторично обратило в бегство обескураженных пехотинцев. Командиры танка – Карлос Эчеверина-и-Эчегерай, Хосе Неста-де-ла-Модеста и Алонсо Бальбоа Бермудес де Барбадо?с, потомственные кабальеро, отличники боевой и политической подготовки, погибли на месте, остальной экипаж получил контузии и ожоги различной степени тяжести. Отчаянный рейд военных велосипедистов со стороны Гермьета, увы, успехом не увенчался. Лишившись своего основного ударного кулака, армия развернулась и начала отступать. Петен мгновенно перехватил инициативу.

От полного развала фронт уберег лишь корпус черногвардейцев, возглавляемый лично генералом Серхио Рохой. Фанатичные *guardia negro* закрепились в небольшой приграничной деревушке Ля-Колин-де-Ролан, что к востоку от дороги на Сен-Жан-ле-Вьё, и сдерживали французский натиск до тех пор, пока тот не пошел на убыль. На седьмой день вторжение немцев и итальянцев вынудило Петена отвести часть своих сил на восток, линия фронта стабилизировалась, и небольшой лоскуток вражеской территории всё же остался в руках у Империи. Над Ля-Колин-де-Ролан колыхался потрепанный неделей боев, исклеванный пулями и осколками понурый испанский флаг.

Авельянеда тотчас объявил это величайшей победой. На миг, только на миг, при получении первых сводок с фронта, он ощутил жуткий отрезвляющий холодок, но тут же подавил в себе непрощенные сомнения. Впереди уже маячил версальский дворец, Испания приросла первым куском галльской земли, и в успокоительной тени этого необъятного факта всё, включая неслыханные потери, заботливо приуменьшенные хором высокопоставленных подпевал, теряло свое значение.

Выраженный Бонапартом, с самоцветными звездами во всю грудь, он явился в Ля-Колин-де-Ролан и самолично раздал героям сотни наград, а потом залез на броню подбитого “Леопарда” (с которого заблаговременно стерли неприличное французское слово) и, стараясь не замечать пасмурное лицо Рохи, произнес зажигательную речь о предстоящем походе на Париж. Офицер незаметно кивнул, и солдаты, измотанные солдаты, в чьих глазах несколько поубавилось любви к своему каудильо, нестройно захлопали, торжественно обещая и дальше бить подлую буржуазную гадину.

Еще больше Авельянеда возликовал, узнав об успехе южной армии Пеньи, посланной завоевывать Гибралтар. Перешеек взяли сходу, нахрапом, повинуюсь приказу выбить британцев любой ценой. Судьба вняла зову буквально: в сражении почти полностью полегли четыре испанских дивизии. Еще накануне прозорливый Пенья телефонировал из своего штаба в Альхесирасе и, заикаясь, просил отложить операцию, но Авельянеда добродушно буркнул в трубку: “Ничего, Пенья, продолжайте наступление” – и сорок тысяч гренадеров сгнули, сражаясь за скалу размером с поле для гольфа. Трупы английских солдат были брошены на съедение чайкам. Приняв на Казематной площади Гибралтара парад победителей, Авельянеда запалил высоченный костер из портретов Георга VI, собранных в домах со всего сити, а затем триумфально шарахнул в море из трофейной английской пушки.

В Мадриде и по всей Испании прошли умопомрачительные торжества по случаю двойной победы. Паривший в столичном небе разукрашенный “Палафокс” сбрасывал на город тонны конфетти, оркестры захлебывались от бравурных маршей, питьевые фонтанчики извергали струи белого, красного и розового вина, дети объедались бесплатным мороженым, мадридцы кричали “Вива!”, а вознесенный над всем этим Авельянеда чувствовал себя вольфрамовой нитью, через которую проходило мощное свечение народной любви. Он плавал, он нежился в этих волнах, он погружался в них с головой и, задыхаясь, выныривал на поверхность, не в силах представить себе иной любви, способной подарить ему подобное счастье. Вечером, когда в небе над президентским дворцом распускался и гроыхал тысячеокий праздничный фейерверк, а столпившиеся на террасе пьяные генералы радостно голосили, утирая салфетками жирные рты, он отвернулся и тихонько всплакнул, размазывая по лицу пестрые павлиньи брызги.

Но упоение было недолгим. Судьба, облагающая налогом всякий людской триумф, поспешила и здесь предъявить свои грабительские права.

На следующий день после парада восстали Красные Каменоломни. Авельянеда едва разлепил глаза, ощущая во рту кислый привкус шампанского, когда адъютант принес ему донесение. Красный пожар занялся в корпусе № 7 специального исправительного лагеря “Кантабрия”, откуда перекинулся на весь остров, а затем и остальной архипелаг. Гвардейские гарнизоны “Кастилии” и “Каталонии” заняли круговую оборону, туземная охрана “Басконии” и “Галисии” сразу примкнула к заключенным. Четыре дня гремел и всхлипывал бой, восставшие, вооруженные в основном самодельными ружьями и гранатами,

ослабили хватку, но на пятый день британские ВВС организовали снабжение островитян по воздуху, в руки краснопузых попали пушки и пулеметы, и на шестой день черногвардейцы были сброшены в море. Взятых в плен коменданта “Кастилии” Флоренсио Чавеса, племянника Рохи, повесили для острастки на маяке, так что в ясную погоду его колеблемое ветром тело было видно с африканского берега.

Небо прогневалось дважды. Пока англичане снабжали островитян, новость откуда взявшаяся американская авиация атаковала испанский флот на Канарах (который так и не успел прийти на выручку *guardia negro*). Нападение было совершено рано утром, когда упившиеся по поводу гибралтарской победы зенитчики спали у своих орудий. Противника встретил лишь один дивизион на Фуэртевентуре, почти полностью сформированный из непьющих приверженцев Магомета. Жители Санта-Крус-де-Тенерифе, приняв налет за искусную постановку, аплодировали с балконов, и на прощанье растроганные американцы эффектно продефилировали над городом. В ходе атаки флот потерял сорок семь кораблей, в то время как неприятель – всего три самолета, один из которых разбился, зацепив крылом мачту полыхавшего, как факел, крейсера “Кампеадор”.

От апоплексического удара диктатора уберег лишь дворцовый повар, который успел вовремя приложить к его пунцовому лбу мешочек с колотым льдом. Уже назавтра Авельянеда, однако, оправился, как ни в чем ни бывало шутил, а вечером, выступая в парламенте, поклялся отплатить нечестивым гринго.

– Испанцы открыли Америку, испанцы ее и закроют, – изрек он с трибуны, убежденно кивая каменным подбородком, и соратники, как всегда, обрушили на него шквал преданности и восторга.

Рейд возмездия должна была совершить Испанская лодка – колоссальная субмарина, только что завершенная на секретной верфи близ Сантандера. Субмарина являла собой настоящее чудо инженерной мысли, сплав народной смекалки и передовых технических достижений. Полностью деревянная, на весельном ходу, она почти не создавала на марше магнитного и акустического полей и могла безнаказанно, не боясь эсминцев противника, решать во вражеских водах любые тактические задачи. В соответствии с планом, утвержденным на совещании Генерального штаба, лодке предстояло пересечь Атлантику, заложить мощные мины под нью-йоркский порт и взорвать к чертовой матери эту колыбель американского капитализма. Ввиду

исторической важности операции субмарине было присвоено второе название “Санта-Мария”, в честь легендарной Колумбовой каравеллы.

Провожали лодку в боевой поход с подлинно византийским размахом. Оркестр, истекая расплавленной медью, задыхаясь и крякая от жары, наяживал “Cara al sol”, шипел и вспыхивал магний, испуская пышные дымчатые султаны, струились ленты на шляпках офицерских жен, епископ Сантандерский, воздев горе? узловатую апостольскую десницу, поминутно благословлял судно, партийное руководство и толпившийся на променаде народ. Выстроенные на палубе, все двести двадцать гребцов “Санта-Марии” излучали страстную готовность к подвигу, а капитан Альберто Фернандес разил журналистов пиратской улыбкой, предъявляя камерам свои сверкающие клыки как обещание лично перекусывать ими английские донные мины. “Настоящий Кортес”, – шепнул Авельянеда генералу Очоа, и тот согласно затряс головой, приканчивая кусок сочной маринованной спаржи.

Прощались с “Санта-Марией” плеском фуражек, лётом панам, лазурным качанием бескозырок. Под крики горожан и уханье оркестра субмарина ушла на северо-запад, торжественно и бесстрастно погрузившись в жестяную воду залива.

Второй мешочек со льдом понадобился каудильо две недели спустя.

Покинув Бискайский залив, Испанская лодка покружила у берегов Франции и сдалась в плен в первом же английском порту. Измученные гребцы запросили политического убежища, а Фернандес, давая интервью лондонской “The Observer”, назвал диктатора неприличным словом, которое ушлый журналист, не переводя дословно, не потрудился, однако, изъять из своей насквозь клеветнической статьи. Отбуксированная в военно-морской музей “Санта-Мария” стала посмешищем всего Соединенного Королевства.

После этого начался жуткий, необъяснимый, всепоглощающий кошмар, от которого уже не было пробуждения.

Немцам всыпали сначала в Бельгии, а затем в Польше, итальянцам – в Греции и Египте. Вскоре Петен полностью очистил от итало-германских войск Лотарингию и Савойю, а затем нанес новый удар по корпусу Рохи.

Черногвардейцы дрались отчаянно, но были вынуждены отступить в Пиренеи,

где заняли поспешную оборону (весьма невыгодную для себя ввиду полного отсутствия заранее подготовленных укреплений).

Почти одновременно с этим французы вторглись в Испанское Марокко, где были неожиданно поддержаны местными бедуинами. Подлые дикари развернули против имперских частей масштабную партизанскую войну, нападая из тех самых зарослей тамариска, что были высажены ими в пору Великого Озеленения Сахары. Еще неделю спустя англичане предприняли первую попытку штурма Гибралтара.

В самой Испании тоже стало беспокойно. После падения Каменоломен боевики Красной Фаланги активизировались, и на улицах всё чаще находили мертвых черногвардейцев. По ночам в Мадриде и Барселоне покрикивали, постреливали и даже поругивали каудильо. “Торквемада” снова заработала в полную силу, продолжая осверхчеловечивать испанцев. Ежедневно с Пласа-Майор вывозили целые корзины “кочанов капусты” – так это называлось на жаргоне палачей.

Сам Авельянеда на казнях не присутствовал. После позора с Испанской лодкой он затворился в президентском дворце, прекратил почти всякое сношение с внешним миром и посвятил себя единственному занятию: не замечать надвигающегося конца. Катастрофа была тем ужаснее, что всё едва начиналось: тучные пажити Лангедока, золотые пустыни Африки еще мерцали в сознании каудильо, толедские мастерицы еще шили мундир (заказанный в начале войны), в котором он собирался принимать парад на улицах оккупированного Парижа, а занавес уже опускался, и гипсовые деревья падали, пребольно ушибая ветвями разбегающихся актеров. Стыд прожигал ему душу насквозь. Втиснув голову в плечи, Авельянеда вертел штабную карту и так и этак и пытался понять, где допустил ошибку, но видел лишь красные и синие клещи наступающих армий да штриховки плацдармов, все эти закорючки и завитки времен венского сговора, такие простые и недвусмысленные тогда, в шенбруннском замке, и такие загадочные теперь, в его кабинете. На столе грузно тикали астрономические часы, золотая секундная стрелка с мушиной неторопливостью ползла по голубой эмали. Иногда Авельянеда отрывался от карты, вслушивался в монотонную музыку времени и думал о том, что лучше бы он не ввязывался в этот чертов передел мира, а нанял толковых ученых и сразу, без рискованных предисловий, приступил к завоеванию космического пространства. Ведь тогда бы его Империя раскинулась на Луне, Венере и Марсе, на обширных просторах далеких планет, а немцам и итальянцам, втянувшим его в эту проклятую авантюру, пусть бы осталась их паршивая Земля.

Но было уже поздно. Приезжавшие на аудиенцию генералы держались учтиво и даже подобострастно, сулили скорую и неминуемую победу, до небес превозносили его полководческий гений, но ни один из этих старых подхалимов не смел взглянуть ему прямо в глаза. Честны были только Роха и Пенья. Занятые на фронте, сами они не приезжали, но присылали своих адъютантов, через которых прямо докладывали, что положение ужасное.

В ходе одного из таких докладов Авельянеда узнал, что англо-французский десант высадился на Мальорке. Война отныне велась непосредственно на испанской земле.

Всё рухнуло шестнадцатого мая, в полдень, когда по всему северу полуострова, от Луго до Жироны, восстали армейские части. Мятежников возглавили подпольные республиканские главари, тотчас провозгласившие себя законным правительством. Сигналом к мятежу послужила условная фраза, переданная заговорщиками по Мадридскому радио: “По всей Кастилии дождливая погода”.

В этот непростой для отечества час глава государства был занят сочинением трактата о сверхчеловеке.

“Что за черт?” – выругался Авельянеда, удивленный странным несоответствием между метеосводкой и ярким солнечным светом, проникающим сквозь закрытые жалюзи. Решив, что глаза, должно быть, ему изменяют, он отложил перо, вышел на балкон и выругался вторично. На небе не было ни облачка, ошалевший от жары толстозадый мопс, Муссолини учащенно дышал, свесив до полу подвижный, как студень, язык. Вода в поильнике совсем пересохла, давно не поливавшийся амариллис в желтом терракотовом горшочке склонил свою нежную лиловую голову. Авельянеда пожал плечами и собрался уже уходить, когда в небе, со стороны Чамартин-де-ла-Роса, появилась маленькая белая птичка и с настырным жужжанием стала приближаться к дворцу. Не долетая, однако, до города, птичка уронила несколько темных крохотных капель, и те, едва слышно свистя, упали и разорвались за Университетским городком, в том самом месте, где располагались казармы черногвардейцев. Как бы в ответ на это за окраиной тотчас раздался гвалт артиллерии и приглушенный стук швейных машин. В небе появились еще три, пять, восемь птичек, жужжание переросло в гул, на казармы посыпались целые россыпи темных свистящих капель. В тот момент Авельянеда еще не знал, что в мятеже участвует почти весь Имперский воздушный флот.

Не знал он и того, что мятеж поддержали в самом Мадриде и даже в его собственном дворце. Пока Авельянеда стоял и, обмахиваясь трактатом о сверхчеловеке, пытался понять, что, черт возьми, происходит, четверо сверхлюдей подкрались и набросились на него сзади. Приложив сверхчеловеческие усилия, они повергли изумленного каудильо на пол и скрутили ему запястья белыми крахмальными полотенцами. Они были совершенно вероломны в своем сверхчеловечестве, эти подлые *bermensch*'и. Связанный, с кляпом во рту – страницей, вырванной из трактата – он был перенесен в подвал, где и оставлен до подхода мятежных частей. Лязг запираемой подвальной двери совпал с новым отзвуком прокатившейся на севере канонады.

Ожидание растянулось на годы, скрашенные лишь призрачным эхом пальбы на окраине да гулками ударами его собственного сердца. Он был уверен, что в тот же день, самое позднее на следующий, его казнят, выпишут ему персональный билет на небо, но был как-то странно готов к этому, даже торопил развязку. Ведь если он не ошибся и его Империя погибла, длить комедию дальше было уже ни к чему. Он лишь боялся, что казнь будет позорной, скажем, в петле, с синюшной тряпицей вываленного языка, как у толстозадого мопса, Муссолини. Или еще того хуже: что мятежники посадят его в клетку и станут показывать публике, как зверя. А потому, полагаясь на милосердие палачей, надеялся всё же на пулю, простую испанскую пулю, и уже предчувствовал минуту, когда в затылок ему повеет злой вороненый холодок.

Он просидел в подвале недолго: спустя четыре часа его освободили гвардейцы Рохи и сохранившие верность присяге армейские подразделения Пеньи. Заговорщики были повешены на балконе дворца, мятежные полки остановлены на подступах к Мадриду, но за это время что-то в главе государства успело непоправимо измениться. Он с каменным лицом принял в своем кабинете Пенью и Роху, безучастно выслушал предложение о немедленном отступлении на юг и с таким же равнодушным видом дал свое согласие. Он хотел бодро сказать: “Да, сеньоры, мы отступаем”, но вместо этого язык проворочал что-то нечленораздельное:

– Мм... шеньоры... Мы шуштупаем...

Беззвучно лопнула внутри натянутая струна. Он стал вдруг как кукла, большая беспомощная кукла Авельянеда, жалкий паяц, бездушная марионетка. Ручки и ножки у этой куклы одеревенели, язык по-прежнему пытался одолеть

непослушное слово “отступаем”.

Началась суматоха, прибежал полковой врач, сделал каудилью инъекцию. Куклу больно отхлестали по щекам, а потом выплеснули ей на лицо целый стакан противной затхлой воды – даже это в его государстве уже не годилось ни к черту.

Остальное Авельянеда помнил плохо.

Его положили в штабную машину с откидным верхом и накрыли армейским байковым одеялом тошнотворного, грязно-бурого цвета, под голову сунули трактат о сверхчеловеке. Машина завелась и поехала, Авельянеду трясло, над ним плыло кастильское небо, сначала вечернее, голубое, затем серое, тускнеющее, затянутое тучами, потом снова чистое, ночное, усыпанное звездами. Слезы ползли у него по щекам, жгучие, постыдные слезы, такие же горькие, как в тот день, когда он прочел в газете о поражении отечества в Испано-американской войне. Пронеслись над головой два рассерженных штурмовика – он так и не разобрал, мятежные они были или свои.

Приступ оставил его только на рассвете, когда они остановились, чтобы пропустить колонну отступающих войск. Авельянеда приподнялся на сиденье и долго отупело рассматривал пейзаж, который показался ему как будто знакомым, но каким-то порченным, словно пережившим огненный ураган. Впереди, за остовом поваленного забора и вереницей обугленных сторожевых вышек, простирался изрытый воронками полигон, песчаная насыпь с остатками деревянных строений и нацеленное в небо сигарообразное нечто высотой со среднюю колокольню. Почерневшее с одного боку, нечто медленно и как бы нехотя догорало, испуская в утреннюю лазурь темную курчавую копоть – ветер подхватывал и кружил над площадкой снопы тающих на лету искр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://telnovel.me/ru/staveckiy_vyacheslav/zhizn-a-g

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)